

**М.Е. Салтыков-Щедрин**

# **Благонамеренные речи**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3  
ББК 84  
С16

С16 **Салтыков-Щедрин М.Е.**  
Благонамеренные речи / М.Е. Салтыков-Щедрин – М.: Книга по Требованию, 2020. – 512 с.

**ISBN 978-5-4241-0675-0**

"Благонамеренные речи" М. П. Салтыкова-Щедрина (1826-1889) - это художественное исследование "основ" современного ему общества. "Я обратился к семье, к собственности, к государству и дал понять, что в наличности ничего этого уже нет, что, стало быть, принципы, во имя которых стесняется свобода, уже не суть принципы, даже для тех, которые ими пользуются". Защиту и пропаганду изживших себя "основ" Салтыков-Щедрин называл "благонамеренностью" и показал, как ложь и лицемерие правящих классов скрываются под масками благонамеренности и добропорядочности.

**ISBN 978-5-4241-0675-0**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2020

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2020

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

[www.samizday.ru/reprint](http://www.samizday.ru/reprint)



меня от опасных увлечений — стало быть, и впрямь я рискую услышать: «фюнт!»; если не буду держать руки по швам. Оторопелый, пораженный пророческим тоном предостережений, я впадаю в недоумение и инстинктивно останавливаю свой бег. За минуту я горел агитационною горячкой и готов был сложить голову, лишь бы добиться «ясного» закона о поправах; теперь — я значительно хладнокровнее смотрю на это дело и рассуждаю о нем несколько иначе. «А что, в самом деле, — говорю я себе, — ежели поправки могут быть устранены без агитации, то зачем же агитировать? Ежели нужно только «подождать», то отчего же не «подождать»?» Все это до того резонно, что так и кажется, будто кто-то стоит и подталкивает сзади: подожди да подожди! И вот я начинаю ждать, не зная, чего собственно я жду и когда должно произойти то, что я жду. А так как, в ожидании, надобно же мне как-нибудь провести время, то я располагаюсь у себя в кабинете и выслушиваю, как один приятель говорит: надо обуздать мужика, а другой: надо обуздать науку. Скажите, могу ли я поступить иначе?

Во-вторых, как это ни парадоксально на первый взгляд, но я могу сказать утвердительно, что все эти люди, в кругу которых я обращаюсь и которые взаимно видят друг в друге «политических врагов», — в сущности, совсем не враги, а просто бесполовые люди, которые не могут или не хотят понять, что они болтают совершенно одно и то же. Как ни стараются они провести между собою разграничительную черту, как ни уверяют друг друга, что такие-то мнения может иметь лишь несомненный жулик, а такие-то — бесспорнейший идиот, мне все-таки кажется, что мотив у них один и тот же, что вся разница в том, что один делает руладу вверх, другой же обращает ее вниз, и что нет даже повода задумываться над тем, кого целесообразнее обуздать: мужика или науку. Все это одинаково целесообразно в том смысле, что про всю эту «целесообразность» одинаково целесообразно можно сказать: «наплевать»... Следовательно, если я и могу быть в чем-нибудь обвинен, то единственно только в том, что вступаю в сношение с людьми, разговаривающими об обуздании вообще, и выслушиваю их. Но ведь не бежать же мне, в самом деле, на необитаемый остров, чтобы скрыться от них!

Я родился в атмосфере обуздания, я таинственную пуповиной прикреплен к людям обуздания. От ранних лет детства я не слышу иных разговоров, кроме разговоров об обуздании (хотя самое слово «обуздание» и не всегда в них упоминается), и полагаю, что эти же разговоры проводят меня и в могилу. Все относящееся до обуздания вошло, так сказать,

в интимную обстановку моей жизни, примелькалось, как плоский русский пейзаж, прислушалось, как сказка старой няньки, и этого, мне кажется, совершенно достаточно, чтоб объяснить то равнодушье, с которым я отношусь к обуздывательной среде и к вопросам, ее волнующим. Я до такой степени *привык* к ним, что, право, не приходит даже на мысль вдумываться, в чем собственно заключаются те тонкости, которыми один обуздательный проект отличается от другого такового ж. Спросите меня, что либеральнее: обуздывать ли человечество при помощи земских управ или при помощи особых о земских повинностях присутствий, — клянусь, я не найдусь даже ответить на этот вопрос. Я не понимаю, в чем состоит сущность его, не могу себе объяснить, зачем тут привлечен либерализм? Мне кажется, что оба решения, на которые указывает вопрос, одинаково стоят на почве обуздания и различаются между собою лишь совершенно недоступною для меня диалектической тонкостью. Поэтому я с одинаковым равнодушием протягиваю руку как сторонникам земских управ, так и защитникам особых о земских повинностях присутствий. Ведь и те и другие одинаково говорят мне об «обуздании» — зачем же я буду целоваться с одним и отворачиваться от другого из-за того только, что первый дает мне на копейку менее обуздания, нежели второй? Лучше я дам каждому по копейке своих — и пускай себе они сотрясают воздух рассказами о преимуществах земских управ над особыми о земских повинностях присутствиями и наоборот...

Очень возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что все эти частные попытки, направленные или к тому, чтобы на вершок укоротить принцип обуздания, или к тому, чтобы на вершок удлинить его, не имеют никакого существенного значения. Сегодня на вершок короче, завтра — на вершок длиннее: все это еще больше удерживает дело на почве внезапностей и колебаний, нимало не разъясняя самого принципа обуздания. Невольно приходит на мысль: если так много спорят об укорачиваниях и удлинениих принципа, то почему же не перенести спор прямо на самый принцип?

Миросозерцание громадного большинства людей все сплошь зиждется на принципе «обуздания». Я знаю, что многие удивятся, услышав, что к ним применяют эпитет «обуздывателей», но удивятся единственно потому, что слишком уж буквально понимают слово «обуздание». Вдумайтесь в смысл этого выражения, и вы увидите, что «обуздание» совсем не равносильно тому, что на местном жаргоне известно под именем «подтягивания», и что действительное значение этого выражения гораздо обширнее и универсальнее. Стоит только

припомнить сказки о «почве» со всею свитою условных форм общежития, союзов и проч., чтобы понять, что вся паша бедная жизнь замкнута тут, в бесчисленных и перепутанных разветвлениях принципа обуздания, из которых мы тщетно усиливаемся выбраться то с помощью устного и гласного судопроизводства, то с помощью переложения земских повинностей из натуральных в денежные... Увы! мы стараемся устроиться как лучше, мы враждуем друг с другом по вопросу о переименовании земских судов в полицейские управления, а в конце концов все-таки убеждаемся, что даже передача следственной части от станowych приставов к судебным следователям (мера сама по себе очень полезная) не избавляет нас от тупого чувства недовольства, которое и после учреждения судебных следователей, по-прежнему, продолжает окрашивать все наши поступки, все житейские отношения наши.

Ясно, что тут скрывается крупное недоразумение, довольно близкое ко лжи, разрешение которого совершенно не зависит от того, чью руку, помещичью или крестьянскую, держат мировые посредники. Как же поступить в данном случае? Что предпринять, чтобы освободиться от чувства недовольства, отравляющего жизнь? Уж не начать ли с того, на что большинство современных «дельцов» смотрит именно как на ненужное и непрактичное? Не начать ли с ревизии самого принципа обуздания, с разоблачения той массы лганья, которая непроницаемым облаком окружает этот принцип и мешает как следует рассмотреть его?

Говоря по совести, это именно самое подходящее средство. Я совсем не отрицаю. Я не отвергаю той пользы, которая может произойти для человечества от улучшения быта станowych приставов или от того, что все земские управы будут относиться к своему делу с рачительностью. Но я стою на одном: что частные вопросы не имеют права загромаждать до такой степени человеческие умы, чтобы исключать вопросы общие. Я думаю даже, что ежели в обществе существует вкус к общим вопросам, то это не только не вредит частностям, но даже помогает им. При освещении общих вопросов и вопрос о всеобщей воинской повинности будет разрешен сознательнее, и вопрос об устройстве земских больниц получит более рациональное осуществление. Иногда кажется: вот вопрос не от мира сего, вот вопрос, который ни с какой стороны не может прикасаться к насущным потребностям общества,— для чего же, дескать, говорить о таких вещах? Но ведь это вздор, любезный читатель! Это только жалкая уловка лгунов-дельцов! Сообразите только, возможное ли это дело! чтобы вопрос глубоко человеческий, вопрос, затрагивающий основные отно-

шения человека к жизни и ее явлениям, мог хотя на одну минуту оставаться для человека безынтересным, а тем более мог бы помешать ему устраиваться на практике возможно выгодным для себя образом,— и вы сами, наверное, скажете, что это вздор! Это до такой степени вздор, что даже мы, современные практики и дельцы, отмаливающиеся от общих вопросов, как от проказы,— даже мы, сами того не понимая, действуем не иначе, как во имя тех общечеловеческих определений, которые продолжают теплиться в нас, несмотря на компактный слой наносного практического хлама, стремящегося заглушить их! Если б это было иначе, откуда же явились бы земские управы! И откуда получила бы тверская земская управа решимость ассигновать необходимые суммы для поддержания артельных сыроварен?

Как бы то ни было, но принцип обуздания продолжает стоять незыблемый, неисследованный. Он написан во всех азбуках, на всех фронтисписах, на всех лбах. Он до того незыблем, что даже говорить о нем не всегда удобно. Не потому ли, спрашивается, он так живуч, не потому ли о нем неудобно говорить, что около него ютятся и кормятся целые армии лгунов?

Итак, побеседуем о лгунах.

Лгуны, о которых идет речь и для которых «обуздание» представляет отправную точку всей деятельности, бывают двух сортов: лицемерные, сознательно лгущие, и искренние, фанатические.

Лицемерные лгуны суть истинные дельцы современности. Они лгут, как говорилось когда-то, при крепостном праве, «пурле жанс», нисколько не отрицая ненужности принципа обуздания в отношении к себе и людям своего круга. Они забрасывают вас всевозможными «краеугольными камнями», загромождают вашу мысль всякими «основами» и тут же, на ваших глазах, на камни паскудят и на основы плюют. В обществе эти люди носят название «дельцов», потому что они не прочь от компромиссов, и «добрых малых», потому что они всегда готовы на всякого двоедушья. И богу помолиться, и покошунствовать. Это ревнители тихого разврата, рыцари безделицы, показывающие свои патенты лишь таким же рыцарям, как и они, посетители «отдельных кабинетов», устроиватели всевозможных комбинаций на основании правила: «И волки сыты, и овцы целы», антреметёры высшей школы, политические и нравственные кукушки, потихоньку кладущие свои яйца в чужие гнезда, при случае — разбойники, при случае — карманные воришки.

Лгуны искренние суть те утописты «обуздания», перед которыми содрогается даже современная, освоившаяся с лгá-



нием действительность. Это чудища, которые лгут не потому, чтобы имели умысел вводить в заблуждение, а потому, что не хотят знать ни свидетельства истории, ни свидетельства современности, которые ежели и видят факт, то признают в нем не факт, а каприз человеческого своеволия. Они бросают в вас краеугольными камнями вполне добросовестно, нимало не помышляя о том, что камень может убить. Это угрюмые люди, никогда не покидающие марева, созданного их воображением, и с неумолимою последовательностью проводящие это марево в действительность. Всегда вооруженные, недоступные и неподкупные, они не останавливаются не только перед насилием, но и перед пустотою. «Если в результате наших усилий оказывается только пустота,— говорят они,— то, следовательно, оно не может иначе быть». И вновь начинают безумную работу данаид, совершая мимоходом злодеяния, вырывая крики ужаса и нимало не наполняя бездны. Лично каждый из этих господ может вызвать лишь изумление перед безграничностью человеческого тупоумия, изумление, впрочем, значительно умеряемое опасением: вот-вот сейчас налетит! вот сейчас убьет, сотрет с лица земли этот ураган бессознательного и тупоумного лгания, отстаивающий свое право убивать во имя какой-то личной «искренности», до которой никому нет дела и перед которой, тем не менее, сотни глупцов останавливаются с разинутыми ртами: это, дескать, «искренность»! — а искренность надобно уважать!

Вот теоретики «обуздания», вот те, которые с неслыханною наглостью держат в осаде человеческое общество. Если хотите знать, которая из указанных выше двух категорий лгунов кажется на мой взгляд более терпимой, я, не обинуясь, отвечу: лгуны сознательные, лицемерные. Лично, быть может, каждый из них во сто крат омерзительнее, нежели лгун-фанатик, но личный характер людей играет далеко не первостепенную роль в делах мира сего. Я от души уважаю искренность, но не люблю костров и пыток, которыми она сопровождается, в товариществе с тупоумием. Нет ничего ужаснее, как искренность, примененная к насилию, и общество, руководимое фанатиками лжи, может наверное рассчитывать на предстоящее превращение его в пустыню. Я предпочитаю лгуна-лицемера уже по тому одному, что он никогда не лжет до конца, но лжет и оглядывается. Хотя он тоже не прочь от пытки, но у него нет того устоя, который окружает пытку ореолом величия. У мелкого плута и сердце, и руки всегда короче, нежели у подлинного, искреннего душегуба. Вора закон посылает в смиренный дом, душегуба — на каторгу. Не потому он делает это различие, чтобы вор был более достоин уважения, а потому,

что он менее вреден. Наконец, лицемера-лгуна я могу презирать, тогда как в виду лгуна-фанатика мне ничего другого не остается, как трепетать. Как хотите, а право презирать все-таки хоть сколько-нибудь да облегчает меня...

---

Освободиться от «лгунов» — вот насущная потребность современного общества, потребность, во всяком случае, не менее настоятельная, как и потребность в правильном разрешении вопроса о дешевейших способах околки льда на волжских пристанях.

Убеждать теоретиков обуздания в необходимости ревизии этого принципа было бы, однако ж, совершенно напрасною тратой времени. Большинство из них (лгуны-лицемеры) не только не страдает от того, что общество изнемогает под игом насильно навязанных ему и не имеющих ни малейшего отношения к жизни принципов, но даже извлекает из общественной забитости известные личные удобства. Меньшинство же (лгуны-фанатики) хотя и подвергает себя обузданию, наравне с массой простецов, но неизвестно еще, почему люди этого меньшинства так сильно верят в творческие свойства излюбленного ими принципа, потому ли, что он влечет их к себе своими внутренними свойствами, или потому, что им известны только легчайшие формы его. Есть много постников, которые охотно держат пост, сопровождающийся постною стерляжьей ухью, но которые, наверное, совсем не так ретиво пропагандировали бы теорию умерщвления плоти, если б она осуществлялась для них в форме ржаного хлеба, приправленного лебедой.

На деле героем обуздания оказывается совсем не теоретик, а тот бедный простец, который несет на своих плечах все практические применения этого принципа. Он несет их без устатка, которые могли бы обмануть его насчет свойств лежащего на нем бремени, без надежды на возможность хоть временных экскурсий в область запретного; несет потому, что вся жизнь его так сложилась, чтоб сделать из него живую, способную выдерживать всевозможные обуздательные опыты. Он чтит все союзы, но чтит не постольку, поскольку они защищают его самого, а поскольку они ограждают других. Для него лично нет в мире угла, который не считался бы заповедным, хотя он сам открыт со всех сторон, открыт для всех воздействий, на изобретение которых так торопят досужий человеческий ум.

Вот для него-то именно и необходимы те разъяснения, о которых идет речь.

Нельзя себе представить положения более запутанного, как положение добродушного простеца, который из всех сил сгибает себя под игом обуздания и в то же время чувствует, что жизнь на каждом шагу так и подмывает его выскользнуть из-под этого ига. Строго обдуманной теории у него нет; он никогда не пробовал доказать себе необходимость и пользу обуздания; он не знает, откуда оно пришло и как сложилось; для него это просто *modus vivendi*<sup>1</sup>, который он всосал себе вместе с молоком матери. С другой стороны, он никогда не рассуждал и о том, почему жизнь так настойчиво подстрекает его на бунт против обуздания; ему сказали, что это происходит оттого, что «плоть немощна» и что «враг силен», — и он на слово поверил этому объяснению. Ни в том, ни в другом случае опереться ему все-таки не на что. Он не имеет надежной крепости, из которой мог бы делать набег на бунтующую плоть; не имеет и укромной лазейки, из которой мог бы послать «бодрому духу» справедливый укор, что вот как ни дрянна и ни немощна плоть, а все-таки почему-нибудь да берет же она над тобою, «бодрым духом», верх. Словом сказать, он открыт и беззащитен со всех сторон...

Но как ни жалка эта всесторонняя беззащитность, а для него, простеца, неизвестно зачем живущего, неизвестно к чему стремящегося, даже и она служит чем-то вроде спасительной пристани. Устраните из жизни простеца элемент бессознательности, и вы увидите перед собою человека, отданного в жертву непрерывному ужасу. Ужас — ввиду безрадостности существования, со всех сторон опутанного обузданием, и ужас же — ввиду угрызений, которые необходимо должны отравить торжество немощной плоти над бодрым духом. Куда ни оглянись — везде огненная геенна. Ясно, что при такой обстановке совсем невозможно было бы существовать, если б не имелось в виду облегчительного элемента, позволяющего взглянуть на все эти ужасы глазами пьяного человека, который готов и море переплывать, и с колокольни соскочить без всякой мысли о том, что из этого может произойти. Ясно, что только одна бессознательность может выручить простеца в его затруднительном положении. Если человек беззащитен, если у него нет средств бороться ни за, ни против немощной плоти, то ему остается только безусловно отдаться на волю гнетущей необходимости, в какой бы форме она ни представлялась. Исполнив это, он, по крайней мере, освобождает себя от вменяемости перед судом собственной совести, от ужасов, которыми она грозит ему на каждом шагу. Подобно лунатику, он идет

---

<sup>1</sup> образ жизни.

навстречу препятствию, столь же чуждый сознательному намерению преодолеть его, как и сознательному опасению разбить себе лоб. Случись первое — он совершает подвиг без всякой мысли о его совершении; случись второе — он встречает смерть, как одну из внезапностей, сцеплением которых была вся его жизнь.

Но, скажут, быть может, многие, что же нам до того, сознательно или бессознательно примиряется человек с жизнью? Ведь дело не в том, в какой форме совершается это примирение, а в том, что оно, несмотря на форму, совершается до такой степени полно, что сам примиряющийся не замечает никакой фальши в своем положении! Ведь примирившийся счастлив — оставьте же его быть счастливым в его бессознательности! не будите в нем напрасного недовольства самим собою, недовольства, которое только производит в нем внутренний разлад, но в конце концов все-таки не сделает его ни более способным к правильной оценке явлений, из которых складывается ни для кого не интересная жизнь простеца, ни менее беззащитным против вторжения в эту жизнь всевозможных внезапностей.

Возражение это, прежде всего, не весьма нравственно, хотя по преимуществу слышится со стороны людей, считающих себя охранителями добрых нравов в обществе. В основании его лежат темные виды на человеческую эксплуатацию, которая, как известно, ничем так не облегчается, как нахождением масс в состоянии бессознательности. Во-вторых, если и есть основание допустить возможность сочетания счастья с бессознательностью, то счастье такого рода имеет столь же мало шансов на прочность, сколь мало имеет их и сама бессознательность. Последняя хотя и может служить примирителем между человеком и жизнью, но лишь до тех пор, покамест тому благоприятствует спокойно сложившаяся внешняя обстановка. С изменением обстановки, с вторжением в нее нового элемента, смягчающие свойства бессознательности истираются с поразительной быстротой, и услуги, доставляемые ею, делаются не только ничтожными, но и прямо назойливыми, почти омерзительными. Такого рода метаморфозы вовсе не редкость даже для нас; мы на каждом шагу встречаем мечущихся из стороны в сторону простецов, и если проходим мимо них в недоумении, то потому только, что ни мы, ни сами мечущиеся не даем себе труда формулировать не только источник их отчаяния, но и свойство претерпеваемой ими боли. А источник этот всегда один и тот же: это — произвольное прекращение состояния бессознательности.

Простец выносив — это правда. Покуда жизнь его идет

обычною прозябательною колеей, гнет обуздания остается для него почти нечувствительным. Но едва ли в целом мире найдется такое неосмысленное существование, которое можно было бы навсегда удержать на исключительно прозябательной колее. У самого простейшего из простецов найдется в жизни такая минута, которая разом выведет его из инерции, разобьет в прах его бессознательное благополучие и заставит безнадежно метаться на прокрустовом ложе обуздания. Вспомните, сколько в этом бедном существовании больных мест, которые так и напрашиваются на уязвление! Вспомните, что оно обставлено целою свитой азбучных афоризмов, из которых ни один не защищает, а, напротив того, представляет легко отворяющуюся дверь для всевозможных наездов! А между тем простец сжился с этими афоризмами, он чувствует себя сросшимся с ними, он по ним устроил всю свою жизнь! И вдруг является что-то неожиданное, непредвиденное, вследствие чего он чувствует, что с него, не имеющего никакого понятия о самозащите, живьем сдирают наносную кожу, которую он искони считал своею собственною! Как поступит он в таком случае?

Нет сомнения, случись что-нибудь подобное с теоретиком-дельцом, он скажет себе: «Наплевать», и пойдет туда, куда укажет ему его личная выгода. Случись то же самое с теоретиком-фанатиком, он скажет себе: это дьявольское наваждение,— и постарается отбиться от него с помощью пытки, костров и т. д. Но простец в подобных случаях видит себя как в лесу. Он не может сказать себе: «Устрою свою жизнь по-новому», потому что он весь опутан афоризмами, и нет для него другого выхода, кроме изнурительного маячения от одного афоризма к другому. Он никогда ничего не ждал, ни к чему не готовился. Он самый процесс собственного существования выносил только потому, что не понимал ни причин, ни последствий своих и чужих поступков. И вдруг для него наступает момент какой-то загадочной ликвидации, в которой он ровно ничего не понимает. Жена сбежала с юнкером, сосед завладел полем, друг оказался предателем. «Что случилось? — в смущении спрашивает он себя,— не обрушился ли мир? не прекратила ли действие завещанная преданием общественная мудрость?» Но и мир, и общественная мудрость стоят неприкосновенные и нимало не тронутые тем, что в их глазах гибнет простец, которого бросила жена, которому изменил друг, у которого сосед отнял поле. Ничто не изменилось кругом, ничто не прекратило обычного ликования, и только он, злосчастный простец, тщетно вопиет к небу по делу о побеге его жены с юнкером, с тем самым юнкером, который при нем

столько раз и с таким искренним чувством говорил о святости семейных уз!

Понятно, как должен он быть изумлен. В том общем равнодушии, которое встречает его горе, он видит какой-то странный внутренний разлад, какую-то двойную, саму себя любящую мораль. Мало того: самые поступки его жены, соседа, друга кажутся ему загадочными. Эти люди совсем не отрицатели и протестанты; напротив того, они сами не раз утверждали его в правилах общежития, сами являлись пламенными защитниками тех афоризмов, которыми он, с их же слов, окружил себя. Что побудило их уклониться от прямой дороги, не стесняясь даже тем, что это уклонение разбивает чье-то существование? Нет ли в их поступке двойной морали, притворства, порочного действия, за которые их должны были бы преследовать угрызения совести?

Увы! тут вовсе нет никакой двойной морали, а что касается до угрызений совести, то самая надежда на них оказывается пустым ребячеством. Тут была простая мораль «пур ле жанс», которую ни один делец обуздания никогда не считает для себя обязательною и в которой всегда имеется достаточно широкая дверь, чтобы выйти из области азбучных афоризмов самому и вывести из нее своих присных. Если простец не видит этой двери, тем хуже для него, но для дельца-теоретика эта слепота представляет даже выгоду, ибо устраняет толкотню. Он свободно делает через эту дверь свои экскурсии и свободно же возвращается через нее в область афоризмов, когда это нужно для подкрепления морали «пур ле жанс». Как истинно развитой человек, он гуляет и тут, и там, никогда не налагая на себя никаких уз, но в то же время отнюдь не воспрещая, чтобы другие считали для себя наложение уз полезным. Напротив того, он охотно даже поддерживает вкус к узам, ибо вкус этот развязывает ему руки, расчищает перед ним больше места...

Но как ни просто такое объяснение обстоятельства, смутившего жизнь бедного простеца, для него оно все-таки представляет тарабарскую грамоту. Он не понимает, что причину поразившей его смуты составляет особенная, не имеющая ничего общего с жизнью теория, которую сочинители ее, нимало не скрываясь, называют моралью «пур ле жанс» и которую он, простец, принял за нечто вполне серьезное. Видя, что исконные регуляторы его жизни поломаны, он не задается мыслью: что ж это за регуляторы, которые ломаются при первом прикосновении к ним? не они ли именно и измяли, и скомкали всю его жизнь? — но прямо и искренно чувствует себя несчастным. Несчастье вызывает в нем протест, но протест настолько